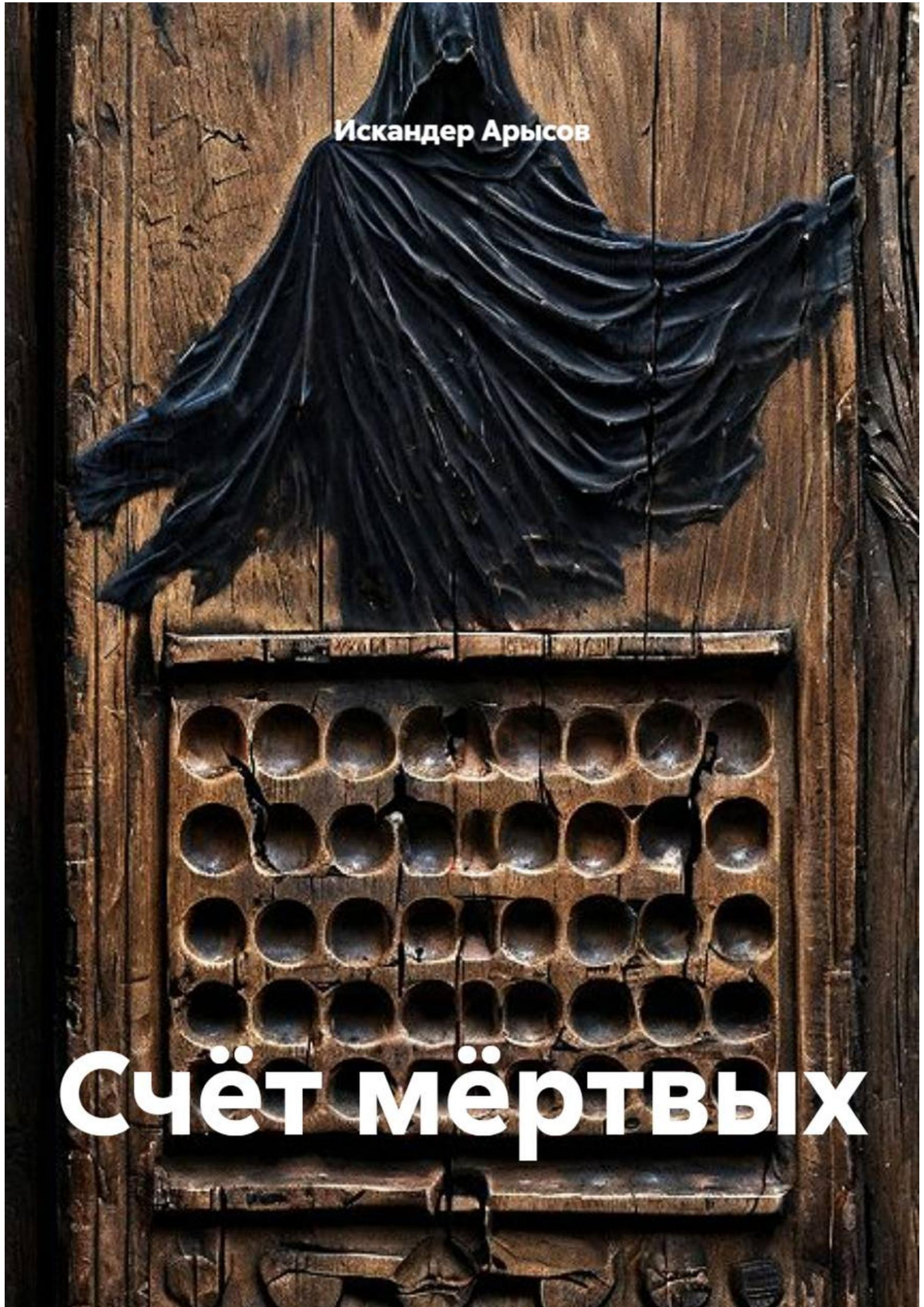




Искандер Арысов

Счёт мёртвых

Искандер Арысов

Счёт мёртвых

«Автор»

2026

Арысов И.

Счёт мёртвых / И. Арысов — «Автор», 2026

Степь умирает. Река Арыс мелеет, трава желтеет, и из земли выходят кости давно ушедших. Юный пастух Эржан получает от деда древнюю доску для игры тогыз-кумалак — но это не просто игра, а язык самой степи. Восемьдесят один камень, восемнадцать лунок, два казана — лишь тот, кто умеет считать, способен удержать мир от распада. Но счёт — это не арифметика. Это память о мёртвых, которые ждут, когда их пересчитают и назовут по имени. Став хранителем, Эржан вступает в поединок с Чёрным Всадником, переходит с уровня на уровень, жертвует священным туздыком, чтобы дать приют безвестным теням. Он учится видеть пустоту между числами — девятый ряд, где живёт то, что нельзя пересчитать. В традициях степного хоррора и философской прозы, — роман о том, что вечность держится на одном: на том, кто считает. И пока счёт ведётся — мир существует.

© Арысов И., 2026

© Автор, 2026

Искандер Арысов

Счёт мёртвых

Пролог. Первый счёт

I

До того как появились доски, до того как люди научились считать, до того как степь обрела имя — была только тишина.

Она не была пустой. Она была полной. Полной того, что не имело формы, не имело числа, не имело границ. Она была как вода в колодце, в который никто не заглядывал, как звёзды, на которые никто не смотрел, как дыхание мира, которое никто не слышал.

А потом пришёл человек.

Он шёл по степи много дней. Он не знал своего имени, потому что имён тогда не было. Он не знал, куда идёт, потому что дорог тогда не было. Он просто шёл, и его шаги были единственным звуком в бесконечной тишине.

Земля под его ногами была сухой и твёрдой, как кость. Трава, если она вообще была, не колыхалась, потому что ветер ещё не научился дуть. Небо было серым, ровным, без начала и конца — как крышка, которой накрыли мир и забыли открыть.

Человек остановился. Он не знал, почему остановился — просто ноги перестали двигаться, и он упал на колени. Руки его коснулись земли, и под пальцами он почувствовал нечто твёрдое, гладкое, холодное.

Он вытащил это из земли. Это была кость.

Большая, тяжёлая, с тёмными прожилками, которые проступали сквозь известковый налёт. Человек держал её в руках и смотрел на неё, не понимая, что это. Он не знал, что такое смерть. Он не знал, что такое жизнь. Он знал только тишину и бесконечный путь.

Но когда он коснулся кости, она заговорила.

II

Голос был тихим, как шорох песка, как треск старого дерева, как далёкий гром, который никто не слышал.

— Ты пришёл, — сказала кость. — Я ждала тебя.

Человек не испугался. Он не знал, что такое страх. Он просто смотрел на кость и слушал.

— Я — память, — сказала кость. — Я — то, что остаётся, когда всё остальное уходит. Я — счёт. Ты должен научиться считать.

— Что значит — считать? — спросил человек.

— Это значит — помнить, — ответила кость. — Это значит — не дать вещам исчезнуть. Это значит — держать мир, когда он пытается рассыпаться.

Человек взял кость в руки и поднёс её к лицу. На её поверхности он увидел линии — тонкие, извилистые, похожие на следы, оставленные в мокрой глине. Они складывались в узор, который он не мог понять, но который чувствовал внутри, как чувствуют тепло или холод.

— Что это? — спросил он.

— Это — спираль, — сказала кость. — Это — бесконечность. Это — то, что никогда не заканчивается. Ты должен следовать за ней.

Человек провёл пальцем по спирали, и в тот же миг мир вокруг него изменился.

Тишина перестала быть пустой. Она заполнилась звуками — далёкими, как шёпот, но они были. Ветер поднялся, коснулся его лица, и он вдохнул запах земли, травы, чего-то ещё, чего он не мог назвать. Небо потемнело, и в нём зажглись огни — маленькие, дрожащие, как кумалаки, рассыпанные по чёрной доске.

Человек смотрел на небо и чувствовал, как внутри него что-то просыпается. Что-то, что не было там раньше. Он начал считать.

Один. Два. Три.

Он считал звёзды, и каждая звезда, которую он называл, загоралась ярче. Он считал до девяти, и когда он дошёл до девяти, земля под ним вздрогнула. Из неё начали появляться кости — одна за другой, выстраиваясь в ряды. Девять рядов по девять. Восемьдесят одна кость.

Они лежали перед ним, белые и чистые, как кумалаки в начале партии. И в центре этого строя лежал камень — белый, с золотой спиралью, такой же, как на кости, которую он держал в руках.

Человек взял камень. Он был тёплым, живым, и когда он коснулся его, он услышал голоса. Тысячи голосов, которые говорили одновременно:

— Мы помним. Мы считаем. Мы есть.

И в этот момент человек понял. Понял, что он не просто человек. Он — хранитель. Тот, кто держит счёт. Тот, кто не даёт миру рассыпаться в прах.

III

Он сидел на земле среди костей и смотрел на небо. Звёзды горели ярко, и он знал их число. Он знал всё — каждое имя, каждое место, каждое число, которое когда-либо существовало.

Но он также знал, что это только начало. Что впереди — бесконечность, которую он должен считать. Что счёт никогда не заканчивается, и что он будет считать всегда.

Он встал и пошёл дальше. Но теперь он шёл не просто так. Он нёс с собой счёт. Он нёс память. Он нёс мир.

И в такт его шагам степь дышала — впервые за всё время.

IV

Прошли века.

Тот человек умер, как умирают все люди. Но его счёт не умер. Он перешёл к другому, потом к следующему, потом к тому, кто вырезал первую доску из камня и назвал её «тогыз-кумалак» — девять лунок, девять рядов, девять счётов.

Доска хранилась в тайном месте, передавалась из рук в руки, от хранителя к хранителю. Она видела империи, которые поднимались и падали, видела войны, которые сжигали степь, видела засухи, которые иссушали реки. Но она не разрушалась, потому что её счёт был вечным.

И однажды, много тысяч лет спустя, в городе Отрар, у реки Арыс, на пороге глинобитной сакли, сидел молодой человек по имени Эржан. Он не знал, что он — хранитель. Он не знал, что его дед — последний из тех, кто держал счёт. Он не знал ничего.

Но степь знала.

Степь помнила.

Степь ждала.

И когда пришло время, она позвала его.

Глава первая. Отсчёт

I

В тот год степь болела.

Она болела не так, как болеют люди — жаром и ломотой в костях, лихорадкой, что выжигает глаза и заставляет метаться в бреду. Она болела иначе. Она болела тишиной. Той особенной, вязкой, почти осязаемой тишиной, которая бывает перед тем, как небо опрокинется в землю и мир перестанет быть тем миром, каким его помнят. Когда каждый звук — даже собственное дыхание — кажется чужим, вторгшимся в пространство, которое уже не принадлежит живым.

Отрар — город, который стоял у слияния рек, у самого горла Великой Степи, на перекрёстке караванных путей, что вели из Китая в Персию и из Сибири в Индию — этот город чувствовал болезнь каждой глиняной стеной, каждым пересохшим колодцем, каждым скрипом караванных ворот. Даже собаки, которых в Отраре было множество — худых, злых, с под-

жатыми хвостами — даже они перестали лаять. Они просто лежали в тени, уткнув морды в пыль, и смотрели на восток. Туда, где небо становилось белым от зноя, где горизонт дрожал и плавился, и где, как говорили старики, сама земля начала сворачиваться в трубку, как высохшая шкура.

Эржан сидел на пороге своей сакли — низкой, глинобитной, с плоской крышей, на которой уже два месяца не лежало ни снега, ни дождя — и смотрел на Арыс.

Река была жидким серебром — той тягучей, медленной субстанцией, которую время от времени превращало в зеркало, когда ветер затихал и вода успокаивалась. Но в последние дни Арыс перестала отражать. Она текла, но не показывала лиц. Вода уходила куда-то вглубь, оставляя по берегам белые кружева соли — будто сама река истекала потом, сбрасывала с себя лишнюю влагу, чтобы стать лёгкой, чтобы умереть с достоинством, чтобы исчезнуть, не оставив после себя даже тени.

Эржану было двадцать два года, хотя в степи возраст измеряют не годами, а числом зим, которые ты пережил, и числом весен, когда ты впервые вывел отару на новые пастбища. Он пережил двадцать две зимы, но эта зима была последней — он чувствовал это нутром, тем особым чутьём, которое воспитывается в каждом кочевнике с детства, как чутьё волка, как чутьё старого беркута, который знает, когда добыча уже не вернётся.

— Ты смотришь на воду, как на лунку, — сказал дед, появляясь из глубины сакли. Голос его был сухим, похожим на треск старой кости. — Будто ждёшь, что она рассыплется на девять частей.

Эржан не обернулся. Он продолжал смотреть на реку, на её медленное, почти незаметное движение, на белые пятна соли, которые росли с каждым днём, как плесень на хлебе, как язвы на теле умирающего зверя.

— Она и так рассыпается, ата. Я считал. На каждый день — одна полоса соли. Сегодня уже двадцать третья. Двадцать три полосы вдоль берега, от старого моста до того камня, что похож на лежащего верблюда.

Дед закашлялся. Кашель был сухой, колючий — такой же, как ветер, что дул с востока уже сорок дней и не приносил ни капли влаги. Кашель этот начинался глубоко в груди, где-то там, где лёгкие уже превратились в пергамент, и вырывался наружу с хрипом, будто старик пытался откашлять саму смерть.

Звали старика Айдаром, и было ему семьдесят девять, или восемьдесят один — никто точно не знал. В степи не вели записей. Возраст считали по числу зим, которые ты пережил, и по числу летних кочевий, которые ты запомнил. Айдар помнил шестьдесят три лета. Шестьдесят три раза он видел, как степь зеленеет, как травы поднимаются выше колена, как реки разливаются, как небо становится синим и глубоким, как в него можно нырнуть, как в колодец. Этого было достаточно, чтобы знать, когда мир начинает умирать. Этого было достаточно, чтобы помнить тот год, когда умер его отец, и тот год, когда умер его дед, и тот год, когда умерла его жена — тихо, во сне, не дождавшись утра. Он помнил все эти смерти, и теперь он помнил, как умирает степь.

— Иди сюда, — сказал Айдар, и в голосе его послышалась странная нотка — не просто приказ, а мольба. — Я покажу тебе кое-что. То, что должен увидеть каждый, кто останется после меня.

Эржан не сразу поднялся. Он ещё смотрел на Арыс, на её мёртвую гладь, на соляные кружева, на отражение неба, которое больше не было небом — оно было белым, выцветшим, как старый войлок. Ему казалось, что если он отведёт взгляд, река исчезнет совсем. Что она станет только памятью о воде, только рассказом о том, как однажды, в те времена, когда ещё были дожди, когда ещё можно было умыться и не чувствовать на губах соль...

Он встал. Ноги затекли — он сидел на пороге больше трёх часов, не двигаясь, не моргая, как изваяние, как те древние каменные бабы, что стоят в степи и смотрят на восток. Он вошёл в

саклю, и полумрак ударил по глазам — после ослепительного света снаружи, внутри казалось, что ты нырнул в колодец.

Внутри было темно. Единственный источник света — маленькое отверстие в крыше, затянутое жиром так, чтобы не пропускать дождь, — давал скудный серый луч, который падал на глиняный пол и распадался на тысячи тусклых золотых точек. Пахло овечьим сыром — тем острым, солёным сыром, который хранится в овечьих желудках и выдерживается годами; пахло сухим кизяком, который зимой заменял дрова; пахло старым войлоком, впитавшим запахи многих кочевий; и тем особенным, неуловимым запахом, который остаётся от вещей, переживших много зим, много смертей, много прощаний.

Дед сидел на корточках у сундука — низкого, окованного медью, такого старого, что медь уже позеленела и покрылась чешуёй, похожей на змеиную кожу. Сундук был единственным предметом в сакле, который дед не позволял трогать никому. Даже Эржану. Особенно Эржану. В детстве внук пытался открыть его, но старик так больно ударил его по рукам, что мальчик запомнил этот урок на всю жизнь. С тех пор он обходил сундук стороной, как обходят осиные гнёзда или места, где, говорят, обитают злые духи.

— Помоги, — сказал Айдар. — Крышка заела. От сырости.

Эржан усмехнулся:

— Какая сырость, ата? Сорок дней без капли. Земля трескается, как пересохшая глина. Даже колодцы в Отраре начали мелеть. Говорят, вчера на базаре один купец продавал воду — по два дирхема за кувшин. И покупали. Люди стояли в очереди с утра до вечера.

— Сырость не всегда приходит с неба, — ответил дед, не поднимая глаз. — Иногда она поднимается из-под земли. Когда земля чувствует, что скоро всё кончится, она начинает плакать изнутри. Это слёзы земли. Они солёные. И они разъедают дерево.

Он провёл пальцем по медной оковке сундука, и палец его остался влажным. Эржан присмотрелся — действительно, на металле выступили капельки воды, мелкие, как роса, но в этой темноте они блестели, как глаза ночных зверей.

Они вдвоём подняли крышку. Сундук издал звук — долгий, скрипучий, похожий на стон, на тот звук, который издаёт раненый волк, когда переступает через свою боль. Изнутри пахло временем: смесью сухих трав, старой шерсти, кости и металла. Этот запах был таким густым, что его можно было потрогать. Эржан заглянул внутрь и увидел то, что видел много раз, когда дед случайно оставлял сундук открытым: старые одежды, выцветшие, почти белые; несколько сёдел — одно из них было сломано, с прорванной подпругой; рукоятка от камчи, инкрустированная серебром, но серебро почернело; обломанный гребень из рога, с выщербленными зубьями; и ещё какие-то тряпки, которые когда-то были халатами.

Но дед потянулся глубже, туда, где за слоем войлока лежало то, что он прятал от всех. Даже от внука. Особенно от внука. Он отодвинул войлок, и его пальцы нащупали что-то твёрдое, гладкое, холодное.

— Ты ведь знаешь, кто мы, Эржан? — спросил Айдар, не глядя на внука. Голос его вдруг стал тихим, почти шёпотом, и в этом шёпоте слышалась та же дрожь, что бывает в голосе человека, который собирается сказать самое важное в своей жизни.

— Мы — пастухи. Мы — род Конырат, степные люди. Мы кочуем, пасём овец, торгуем шерстью и сыром. Мы платим дань эмиру Отрара, когда он требует. Мы...

— Нет, — оборвал дед, и в его голосе прозвучала такая сила, какой Эржан не слышал в нём уже много лет. — Пастухи — это те, кто пасёт овец. Те, кто думает только о том, где найти траву и воду. Мы — не пастухи. Мы — хранители. Только никто нам об этом не сказал. И никто не спросил. Мы сами себя забыли. Забыли, зачем деды наши прятали этот сундук в самые глубокие ночи. Забыли, почему они шептали имена, которые нельзя произносить вслух.

Он вытащил доску.

Она была небольшой — размером с грудь взрослого мужчины — и сделана из дерева, которого Эржан не узнал. Не было в здешних краях такого дерева. Слишком тёмное, почти чёрное, слишком плотное, с тонкими жилками, похожими на застывшую кровь, на сеть вен, которая пронизывала поверхность и уходила вглубь. Лунок было восемнадцать — по девять на каждой стороне — и два углубления по краям, которые дед называл казанами. Лунки были не просто вырезаны — они были выжжены или выточены с такой точностью, что казались естественными углублениями, будто дерево само породило их, как порождает плоды. Каждая лунка была отполирована до зеркального блеска, и в этом блеске отражался тусклый свет из отверстия в крыше.

Но не это поразило Эржана. Поразило другое: доска была целой. Абсолютно целой. На ней не было ни одной трещины, ни одной царапины, ни одного следа времени. Она выглядела так, будто её вырезали вчера — хотя Эржан знал, что она лежала в сундуке столько, сколько он себя помнил. И сколько до него помнили его отец, и дед, и прадед.

— Ей тысяча лет, — сказал дед. — Или больше. Никто не знает точно. Говорят, её сделал сам Коркут-ата, тот самый, что создал кобыз и научил людей играть на нём. Но это только легенда. Легенд в степи много — как камней. Но эта доска — не легенда.

Эржан протянул руку, но не дотронулся. Было в этой доске что-то, что останавливало. Что-то, что говорило: «Не прикасайся, если не готов. Если твои руки не очищены. Если твои мысли не чисты». По краям доски шёл тонкий орнамент — не тот, что он видел на коврах или на одежде. Этот орнамент был другим: он состоял из повторяющихся углов, ломаных линий, которые сходились в центре, образуя спираль. Спираль, которая закручивалась внутрь, в пустоту, в самое сердце доски.

— Что это? — спросил он, и голос его осип. — Игрушка? Вроде тех, которыми купцы забавляются на базаре? Я видел такие — деревянные доски с ячейками, в них пересыпают камешки, считают очки...

— Игрушка? — дед усмехнулся, и в усмешке этой была такая горечь, такая боль, такая древняя усталость, что у Эржана свело живот, и он едва не отшатнулся. — Ты думаешь, это игрушка? Нет, внук. Это — язык. Единственный язык, который понимает степь. Единственный, на котором можно говорить с ней, когда все другие слова уже не имеют силы.

Он провёл пальцем по лункам. Восемнадцать углублений. Девять — слева, девять — справа. Между ними — пустое пространство. Граница. Линия, которую нельзя переступить, но можно пересечь кумалаком.

— Степь говорила на этом языке, — продолжил Айдар. — Когда у неё не было слов, когда ветер уносил все звуки, когда оставалась только тишина. Тогда она брала 81 камень. И начинала считать. Считать свои кости, свои реки, свои травы. Считать звёзды, которые падают, и тех, кто остаётся. Считать, сколько раз можно умереть и воскреснуть.

Эржан смотрел на лунки. Они казались ему глазами. Девять глаз, вырезанных в дереве. И ещё девять — напротив. Все они смотрели на него. Ждали. Требовали. В их глубине он видел отражения, но не своего лица — отражения чего-то другого. Лиц людей, которых он никогда не знал. Лиц, которые были старше самого Отрара.

— Зачем? — спросил он, и голос его прозвучал как чужой. — Зачем считать камни? Что это даёт? Разве можно вернуть воду, вернуть дождь, вернуть жизнь, просто пересыпая камешки?

— Затем, — дед поднял взгляд, и в его глазах Эржан увидел нечто странное — не старческую муть, не усталость, а ясность, такую же опасную, как тишина в степи, такую же холодную, как соль на берегах Арыс, — что когда мы считаем, мы не даём вещам исчезнуть. Каждый камешек — это жизнь. Одна жизнь, один миг, один вздох, который ты пересыпаешь из одной лунки в другую. И пока ты считаешь, пока ты знаешь, сколько их, пока ты видишь, куда они падают и в какой лунке они останавливаются — мир держится. Пока есть кто-то, кто держит

счёт, мир не может умереть окончательно. Он может только перераспределиться. Перейти из одного казана в другой.

Дед замолчал. Где-то за стеной скрипнула калитка — это сосед, старый Мурат, вышел проверить, не подох ли его единственный верблюд. Ветер — тот самый, восточный, сухой и горячий — донёс запах сухой травы и далёкого огня. На востоке всегда горело. Степь горела, когда умирала. И сейчас, даже на расстоянии многих километров, Эржан чувствовал этот запах — запах гари, запах конца.

— Научи меня, — сказал Эржан.

Он сам не знал, почему сказал это. Слова вырвались сами, как вода из треснувшего кувшина, как кровь из раны. Может быть, потому что в лунках он увидел что-то, что не мог выразить словами. Может быть, потому что река умирала, и ему нужно было ухватиться за что-то, что не умирает. За что-то, что старше смерти. Может быть, потому что он почувствовал в этой доске пульс — слабый, далёкий, но настоящий — и понял, что этот пульс бьётся в такт его собственному сердцу.

Дед долго молчал. Он смотрел на доску, на лунки, на пустоту между ними. Потом сказал: — Нет.

Эржан уставился на него. Кровь прилила к лицу. Он хотел закричать, хотел ударить кулаком по стене, но сдержался. Он был воспитан в степи, а в степи мужчина не кричит. Мужчина молчит и ждёт.

— Почему? — спросил он. Голос его был ровным, но внутри всё кипело.

— Потому что это не игра, Эржан. Это — договор. Смертельный договор. Ты будешь не играть, ты будешь — считать. Ты будешь смотреть на мир и видеть не то, что можно схватить рукой, а то, что можно сосчитать. Ты перестанешь быть человеком. Ты станешь — тем, кто держит весы. Тем, кто отвечает за равновесие. И если ты ошибёшься, если ты собьёшься со счёта — мир рухнет. Не сразу. Но рухнет.

— Я хочу, — сказал Эржан, и в голосе его зазвенела та же сталь, что звенит в клинке, когда его вынимают из ножен. — Я хочу знать. Я должен знать.

— Знать что? — дед наклонил голову, и глаза его прищурились.

— Знать, почему река умирает. Почему земля трескается. Почему восточный ветер не приносит дождя. Почему старые люди уходят, и никто не может их удержать. Знать, что будет после того, как мы все умрём. Знать, что останется.

— Ты думаешь, я знаю? — усмехнулся дед, но в усмешке его не было насмешки — была только бесконечная печаль. — Я ничего не знаю. Я просто считаю. Я считаю дни, которые остались, я считаю камни, которые не дают нам уйти в пустоту. И всё. Это не знание. Это — обязанность. Тяжелее, чем нести на плечах целого верблюда.

Он протянул руку к доске и коснулся одной из лунок — самой дальней слева. Восьмой, если считать от края. Или второй, если считать от центра. Всё зависело от того, как ты смотришь. С какой стороны начинаешь.

— Туздык, — прошептал он. — Священная лунка. Никто не может тронуть её. Никто, кроме того, кто её создал. Понимаешь?

Эржан не понимал. Он смотрел на палец деда, который застыл над лункой, и ему казалось, что старик сейчас исчезнет. Растворится в этом дереве, в этом тысячелетнем запахе, в этой темноте, которая стучалась за его плечами, как вода в колодце, когда в него смотришь слишком долго.

— Есть вещи, которые нельзя объяснить словами, — сказал Айдар, убирая руку. — Их можно только показать. Но для этого нужно время. А времени у нас почти нет.

Он замолчал. Где-то снаружи прокричал ишак — длинно, тоскливо, как будто он тоже чувствовал приближение конца. Эржан подошёл к двери и выглянул. Солнце уже клонилось к западу, тени становились длинными, похожими на пальцы великанов, которые тянулись к

городу. Город Отрар лежал внизу, в долине, окружённый стенами, которые когда-то считались неприступными. Теперь эти стены казались ему не защитой, а клеткой. Клеткой, из которой не выйти.

— Иди, — сказал дед за спиной. — Ступай к реке. Посмотри на неё. И скажи мне, сколько камней унесла вода за сегодня.

— Камней? — Эржан обернулся. — Но в реке нет камней. Вода уходит, она мелеет, камни лежат на дне, их видно, их не уносит.

— Есть, — дед улыбнулся. Улыбка была кривой, почти болезненной, как у человека, который знает то, чего не знают другие. — Ты просто не умеешь их видеть. Ступай. Считай. И не возвращайся, пока не сосчитаешь.

II

Он пошёл к реке.

Было уже почти темно. Солнце садилось за песчаные холмы, окрашивая небо в багрянец, в тот особенный цвет, который в степи называют «кровавым» — потому что он напоминает цвет запёкшейся крови на выжженной траве. Тени становились всё длиннее, они выползали из-за камней и кустарников, тянулись к городу, как змеи, ищущие тепло.

Арыс текла медленно, тяжело, как больной зверь, который уже не может встать, но ещё дышит, и в её отражении Эржан не увидел себя. Впервые за много лет он не увидел себя в реке.

Он стоял на берегу и смотрел в воду, но вместо своего лица видел только солёную корку, которая шевелилась, будто живая, и шептала что-то на языке, который он не понимал. Язык этот был похож на шорох высохших листьев, на скрип песка под ногами, на тот звук, который издаёт ветер, когда он застревает между камней и не может вырваться.

Сколько камней унесла вода? Он сосредоточился. Он закрыл глаза и попытался вспомнить, чему учил его дед, когда он был мальчиком — считать камни. Не те, что лежат на поверхности, а те, что уходят. Те, что исчезают.

Он присел на корточки. Взял горсть земли. Песок был горячим, даже в этот вечерний час, и сыпался сквозь пальцы, как время, как вода, как жизнь. Он смотрел на этот песок и думал: сколько зёрен в моей руке? Тысячи? Десятки тысяч? И если я сейчас их развею, они станут чем-то другим. Они станут ветром, они станут пылью, они станут памятью. Так и камни в реке — они не исчезают. Они просто становятся чем-то другим. Они становятся солью. Становятся дыханием воды.

Он насчитал семь. Семь небольших камней, которые лежали на дне у самого берега и были видны сквозь прозрачную, почти стеклянную воду. Семь камней, которые за сегодняшний день унесло течением — или, точнее, которые исчезли из виду, растворились в солёной корке, стали частью белого налёта. Но он понимал, что это не те камни. Не те. Были и другие, невидимые глазу, которые уходили вглубь, в самое русло, туда, где вода казалась чёрной, где она пахла железом и смертью.

Он сидел так долго. Минуты текли, как песок сквозь пальцы. Стемнело полностью. На небе зажглись звёзды — они были ярче, чем обычно, потому что воздух стал сухим и прозрачным, и не было облаков, которые могли бы заслонить их свет. Эржан смотрел на звёзды и думал о том, что они тоже умирают. Их свет, который доходит до земли, — это свет мёртвых звёзд. Может быть, степь умирает так же. Может быть, всё уже умерло, а мы просто видим последние отблески, последнее эхо.

— Я считаю, — прошептал он. — Я считаю тебя, земля. Я считаю каждый твой комок, каждую трещину, каждый камешек. И когда я сосчитаю, я пойму. Я пойму, где ты болит, что тебя гложет, почему ты уходишь.

Ветер донёс голос. Или не голос — просто звук. Такой же, какой издаёт сухой стебель, когда его ломают пополам. Такой же, какой издаёт кость, когда её перетирают между камнями. Эржан поднял голову и увидел всадника.

Тот ехал вдоль берега, медленно, как будто время для него остановилось. Тёмный плащ, тёмный конь, лицо скрыто под капюшоном, из-под которого не было видно ни глаз, ни бороды, ни даже очертаний лица — только чернота. Конь тоже был чёрным, матовым, без единого белого пятна, и двигался он бесшумно, как тень. Ни стука копыт, ни дыхания, ни фыркания — только шорох плаща, который касался сухой травы.

— Эй! — крикнул Эржан. — Кто ты?

Всадник остановился. Не повернул головы, не ответил. Просто застыл, и его конь тоже застыл, словно их вырезали из той же тёмной породы, что и доска в сундуке деда. Они были неподвижны, как изваяния, как те каменные бабы, что стоят в степи и смотрят на восток.

Потом он поднял руку. Тёмную руку, в которой что-то блеснуло. Камешек. Обычный белый камешек, такой же, как те, что лежали на дне Арыс.

Всадник бросил его в реку.

Круги разошлись, но не так, как это бывает с водой. Они разошлись, как лунки. Как девять кругов, которые пошли от центра — и исчезли. И когда круги исчезли, Эржан увидел на дне новый камень. Двадцать четвёртый. Или двадцать пятый. Он сбился со счёта.

Всадник развернул коня, и Эржан успел заметить, что под копытами лошади не осталось следов. Никаких. Будто он не ехал по земле, а парил над ней. Будто он был не человеком, а призраком, тенью, сном.

— Кто ты?! — крикнул Эржан снова, но всадник уже исчез за холмом, растворился в темноте, как дым, как утренний туман.

Эржан остался один у реки. Он смотрел на воду, на круги, которые уже разошлись, на камень, который лежал на дне, белый и чистый, как будто его только что положили туда. И он понял, что этот камень — не просто камень. Это — знак. Это — начало отсчёта.

Он поднялся, отряхнул пыль с одежды и медленно пошёл обратно к сакле. Ноги его дрожали, но не от усталости. От страха. От того странного, холодного страха, который бывает, когда ты видишь то, что не должен был видеть. Когда ты слышишь то, что не должен был слышать.

III

Ночью Эржану приснился сон.

Ему снилось, что он сидит за доской — той самой, тысячеклетной — и держит в руках кумалаки. Их было восемьдесят один. Он пересчитывал их, и каждый раз, когда его пальцы касались камня, он видел чью-то жизнь. Лицо человека, который когда-то жил в степи. Который кочевал, любил, воевал, умирал. Который строил города и разрушал их. Который молился богам, которых уже никто не помнит.

Он видел их всех. Тысячи лиц. Десятки тысяч. Они проходили перед его глазами, как вода, как песок, как время. И каждый камешек говорил ему: «Я был. Я есть. Я буду. Пока ты считаешь, я не исчезну».

Потом он начал сеять. Он взял камни из первой лунки — их было девять — и стал раскладывать их по кругу, по часовой стрелке, как учил дед. Каждый камень падал с глухим звуком, похожим на удар сердца. Но в этом сне он слышал не только удары. Он слышал голоса. Тысячи голосов, которые шептали что-то на древнем языке, на языке, который был старше самого Отрара, старше степей, старше времени.

Первый камень. Второй. Третий.

Он считал: один, два, три...

На десятом камне он проснулся.

В сакле было темно. Дед спал в углу, прикрыв лицо рукой — старой, морщинистой, с узловатыми пальцами, похожими на корни вековых деревьев. Его дыхание было прерывистым, кашель возвращался, и Эржан знал — старик недолго протянет. Все знали. Степь знала. Даже

Арыс, даже умирающая река знала, что через несколько дней — или недель — старый Айдар закроет глаза и не откроет их больше.

Эржан поднялся. Ноги дрожали. Он подошёл к сундуку, открыл его — крышка подалась легко, словно кто-то уже открывал её до него, словно кто-то ждал этого мгновения — и достал доску.

Она была тёплой. Как живая. Как тело, в котором ещё бьётся сердце.

Он положил её перед собой, на глиняный пол, и коснулся пальцами лунок. Восемнадцать углублений. Девять слева, девять справа. Пустые. Все пустые. Но он знал — они не были пустыми по-настоящему. Они были полны воздуха, полны тишины, полны того, что дед называл «потенциалом».

— Я хочу знать, — прошептал он. — Я хочу считать.

Он закрыл глаза. В темноте он услышал, как где-то — очень далеко, за стенами сакли, за стенами Отрара, за самой степью — зазвенел первый кумалак. Потом второй. Потом третий.

Кто-то сеял.

Кто-то считал.

Кто-то знал, что мир кончается, и пытался удержать его, пересыпая камни из лунки в лунку, из одного казана в другой, из прошлого в будущее, из жизни в смерть и обратно.

Эржан открыл глаза.

Доска была полна.

В каждой лунке лежало по девять кумалаков. Ровно. Идеально. Так, как бывает только в начале партии. Только в тот миг, когда всё ещё возможно. Когда ещё не сделано ни одного хода, когда время ещё не начало свой отсчёт, когда пустота ещё не стала главной, когда смерть ещё не одержала верх.

Он взглянул на свои руки. Они дрожали. Но он знал — он должен начать. Должен сделать первый посев.

Потому что если он не начнёт, то кто начнёт?

Он взял из первой лунки девять камней. Пересчитал их. Девять. Ровно девять. Они были тёплыми, гладкими, отполированными временем и тысячами рук, которые держали их до него. Он чувствовал их вес, их энергию, их память.

И начал сеять.

Первый камень упал во вторую лунку. Второй — в третью. Третий — в четвёртую. Четвёртый — в пятую. Пятый — в шестую. Шестой — в седьмую. Седьмой — в восьмую. Восьмой — в девятую. Девятый — в казан. Он должен был попасть в чётную лунку — и он попал. В казан, который был и лункой, и не лункой, который был границей между мирами.

Эржан считал. Он считал и чувствовал, как степь за его спиной, за стенами сакли, за рекой Арыс, за песками, за горизонтом — начинает дышать в такт его руке. Как она просыпается от долгой спячки, как она поворачивается к нему, как она шепчет его имя.

Он засеивал мир.

И мир отвечал ему тишиной. Но не пустой тишиной — а той, которая наполнена смыслом, которая ждёт, которая слушает, которая считает вместе с ним.

Когда последний камень упал в чётную лунку — девятый, завершающий — Эржан понял: он сделал нечто большее, чем просто ход. Он нарушил равновесие. Он сдвинул весы. Он переложил один камень из чаши жизни в чашу смерти — или наоборот.

Где-то в темноте кашлянул дед и сказал сквозь сон, не просыпаясь:

— Ты начал, внук. Теперь не останавливайся. Теперь уже нельзя. Счёт идёт.

Эржан смотрел на доску. На лунки, в которых теперь лежало разное количество кумалаков: где десять, где восемь, где девять — как и было. Он смотрел и видел в этом не просто порядок. Он видел начало.

Начало конца. Или начало — нового начала.

Он поднёс доску ближе к себе. В тусклом свете, который просачивался из отверстия в крыше, он разглядел орнамент по краям — те самые ломаные линии, которые складывались в спираль. Теперь он увидел, что спираль эта не была просто украшением. Она была лабиринтом. Лабиринтом, по которому ходили кумалаки, по которому ходило время, по которому ходила сама судьба.

Он провёл пальцем по орнаменту — и почувствовал, как дерево под его пальцем дрогнуло. Как будто оно было живым. Как будто оно дышало.

В ту ночь он не лёг спать. Он сидел у доски и считал. Считал до тех пор, пока за окном не начало сереть небо, пока первые лучи солнца не коснулись горизонта, пока восточный ветер не принёс первый запах — тот самый, который он чувствовал на берегу Арыс. Запах соли. Запах смерти.

Но теперь в этом запахе было что-то ещё.

Что-то, что говорило: «Ты считаешь — ты держишь. Ты держишь — ты есть».

Эржан улыбнулся.

Впервые за сорок дней.

Он улыбнулся и начал новую партию.

Потому что в степи, когда умирает река, остаётся только одно занятие — считать. Считать камни. Считать дни. Считать лунки. Считать, сколько раз ты можешь умереть, прежде чем начнёшь жить.

Но теперь он знал, что счёт — это не просто арифметика. Это — магия. Древняя, забытая, опасная магия, которая требует жертв. Которая требует, чтобы ты отдал что-то взамен. Чтобы ты положил на одну чашу весов свою жизнь, а на другую — ту самую, которую ты пытаешься спасти.

Эржан закрыл глаза и снова взял кумалаки.

Он начал сеять.

И в темноте, за стенами сакли, ему почудилось, что степь застонала. Не от боли — от надежды.

IV

Утром он вышел из сакли и увидел, что мир изменился.

Небо было серым — впервые за много недель. Не было той ослепительной синевы, которая выжигала глаза, не было того белого зноя, который плавил горизонт. Было серо, тяжело, влажно — как будто небо собиралось разродиться дождём.

Эржан посмотрел на Арыс. Река стояла. Она не текла. Она стояла, как стоячая вода в старом колодце, неподвижная, почти мёртвая. Но в центре её, там, где глубина была наибольшей, он увидел что-то белое. Камень. Тот самый, который бросил всадник.

Он подошёл ближе. Камень лежал на дне, но вода вокруг него была чистой, без соляной корки. Как будто он очищал её. Как будто он был — центром. Началом.

Эржан снял сапоги, вошёл в воду. Она была холодной — неожиданно холодной для этого времени года, для этой жары. Он нагнулся и достал камень. Он был гладким, тёплым на ощупь, и на нём был вырезан знак. Знак, который он видел на доске. Спираль.

Он сжал его в руке и почувствовал, как тепло разливается по телу. Как будто камень отдавал ему свою энергию. Как будто он был живым.

— Ты нашёл, — раздался голос за спиной.

Эржан обернулся. Дед стоял на берегу, опираясь на посох. Он был бледен, глаза его ввалились, но в них горел огонь — тот самый, который Эржан видел прошлой ночью, когда дед рассказывал о доске.

— Что это? — спросил Эржан, показывая камень.

— Это — семя, — ответил Айдар. — Семя, которое ты должен посадить. В первую лунку. Самую дальнюю слева. Восьмую.

— Но там уже есть кумалаки.

— Значит, ты должен пересчитать их. Ты должен сделать так, чтобы их стало девять. Ровно девять. И тогда — начнётся.

— Что начнётся?

Дед улыбнулся. Улыбка была старой, усталой, но в ней была и надежда.

— Начнётся дождь, — сказал он. — Или не начнётся. Это зависит от того, правильно ли ты считаешь.

Эржан посмотрел на камень, потом на реку, потом на небо. Небо было серым, тяжёлым, оно давило на землю, как огромный камень.

Он вышел из воды, надел сапоги и пошёл к сакле.

Ему нужно было считать.

V

В сакле было тихо. Дед сел в углу, закрыл глаза и начал напевать что-то тихое, монотонное — старую песню, которую Эржан слышал в детстве, когда засыпал у костра. Песня была о том, как степь родилась, как она дала жизнь людям, как она учила их считать звёзды и времена года.

Эржан сел за доску. Он положил камень рядом с собой и взял кумалаки. Он начал сеять — медленно, сосредоточенно, как учил дед. Каждый камень он считал вслух, чтобы не сбиться. Каждый ход он проверял дважды, трижды, потому что от этого зависело всё.

Он не знал, что именно он делает. Он не знал, зачем это всё. Но он чувствовал, что это правильно. Что это — единственное, что он может сделать.

Он сеял, и мир вокруг него менялся. Воздух становился плотнее, влажнее. Запах соли уходил, уступая место запаху свежей земли, запаху травы, которая скоро прорастёт. Или не прорастёт. Всё зависело от него.

Он засеял все лунки. Он пересчитал все камни. Он проверил каждый ход.

И когда он закончил, он услышал, как за окном закапало. Сначала редко, потом чаще, потом — ливнем.

Дождь.

Первый дождь за сорок дней.

Эржан вышел из сакли и подставил лицо воде. Она была тёплой, живой, она пахла надеждой. Он стоял и плакал — впервые с тех пор, как умерла его мать, когда ему было семь лет.

Дед вышел следом. Он улыбался. Впервые за много лет он улыбался.

— Ты сделал это, внук, — сказал он. — Ты начал счёт. И ты не ошибся.

— Но что теперь? — спросил Эржан.

— Теперь мы ждём, — ответил Айдар. — Мы ждём, когда степь ответит. Когда она скажет, что готова жить дальше. Или когда скажет, что готова умереть.

Дождь лил, и Арыс снова начала течь. Медленно, но — течь. Соль смывалась с берегов, вода становилась чистой, прозрачной.

Эржан стоял под дождём и смотрел на реку. Он знал, что это только начало. Что впереди — сотни, тысячи партий, сотни, тысячи посевов, сотни, тысячи смертей и воскрешений.

Но теперь он знал свой счёт.

Тогыз-кумалак.

Игра, которая старше империй.

Игра, в которой нет победителей. Есть только те, кто считает.

И те, кого — считают.

Глава вторая. Посев

I

Дождь шёл три дня.

Три дня вода падала с неба — не переставая, не ослабевая, не давая передышки ни земле, ни людям, ни зверям. Степь, которая сорок дней лежала мёртвой, вдруг ожила с такой яростью, что воздух стал тяжёлым, как мокрый войлок, и каждое дыхание отдавалось в груди сыростью. Небо было не просто серым — оно было свинцовым, низким, почти касающимся крыш саклей, и в этом свинце непрерывно вспарывались молнии, но грома почти не было — только глухой, далёкий гул, похожий на стон земли, которая наконец-то утолила свою жажду.

Арыс, которая ещё вчера была тонкой ниткой соли, вздулась, почернела и понесла свою воду к Сырдарье с рёвом, которого в Отраре не слышали уже много лет. Вода несла с собой всё, что накопилось на берегах за месяцы засухи: вырванные с корнем кусты саксаула, обломки старых построек, куски войлока, сгнившие верёвки — всё это кружилось в мутном потоке, как хаотичный орнамент, который кто-то невидимый вычерчивал на поверхности воды. Казалось, сама река переписывала себя заново, смывая старые линии и проводя новые — такие же неразборчивые, как письма на забытых камнях.

Эржан не выходил из сакли. Он сидел за доской — той самой, тысячетлетней — и считал. Считал бесконечно. Считал так, как считают, когда за окном плещет потоп, а внутри — тишина, такая глубокая, что собственное сердцебиение кажется громом. Он перекладывал кумалаки из лунки в лунку, и каждый ход отзывался в дереве доски едва заметной вибрацией — словно доска была струной, натянутой между прошлым и будущим, и он касался её своими пальцами, извлекая из неё звуки, которые мог слышать только он.

Дед лежал в углу, укрытый старым халатом, и дышал тяжело, с присвистом. Дождь разбудил в нём что-то, что долго спало: кашель стал влажным, глубоким, и в нём уже не было той сухой колючести, что мучила старика месяц назад. Теперь кашель был похож на хрип тонущего. Каждый выдох Айдары заканчивался бульканьем — будто лёгкие его наполнились водой, и он пытался выкашлять её обратно, но вода не выходила, она оставалась внутри, превращая дыхание в агонию. Эржан бросал взгляд на деда между ходами, и каждый раз сердце его сжималось: старик таял на глазах, кожа его становилась полупрозрачной, как пергамент, и сквозь неё проступали голубые нити вен — такие же извилистые, как спираль на доске.

— Ты видишь, — прошептал дед на исходе третьего дня, не открывая глаз. — Дождь пошёл. Ты сделал первый ход. Но это только начало. Степь приняла твой дар, но она ещё не знает, что делать с ним. Она пробует его на вкус, как пробуют воду из нового колодца. И если вода окажется горькой, она выплюнет её обратно, и тогда — тогда начнётся новая засуха, ещё более страшная, чем прежняя.

Эржан не ответил. Он держал в руке камень — тот самый, белый, со спиралью, который он вынул из реки. Камень был тёплым, хотя в сакле было холодно и сыро. Он грел ладонь, как маленькое солнце, и Эржан не мог выпустить его — чувствовал, что если разожмёт пальцы, мир снова рухнет в засуху, что туздык, который он только что создал, потеряет свою силу, и все жертвы будут напрасны.

— Что мне делать дальше, ата? — спросил он. Голос его был хриплым от долгого молчания.

Дед открыл глаза. Они были мутными, почти белыми — радужка растворилась в старческой пелене, и казалось, что старик смотрит не наружу, а внутрь себя, в ту бездну, куда уходят все, кто прожил слишком долго. Но в этой мути Эржан различил искру — слабую, дрожащую, как светлячок в ночной траве.

— Ты должен сделать второй ход, — сказал Айдар. — Но не так, как первый. Первый ход был — отчаянием. Ты сеял, потому что боялся смерти, потому что не мог смотреть, как умирает река. Ты сеял, как сеют семена в сухую землю, не зная, взойдут ли они. Второй ход должен быть — жертвой. Ты должен отдать что-то, что тебе дорого. Что-то, без чего ты не можешь жить. И тогда степь примет твой дар и начнёт дышать ровно.

— Что я могу отдать? — Эржан посмотрел на свои руки. Они были мозолистыми, жёсткими от работы — руки пастуха, привыкшие к верёвкам, к деревянной посохе, к шерсти овец. В них не было ничего ценного, кроме силы, кроме привычки держать, сжимать, не отпускать. Но теперь он понимал, что сила — это не то, что держат в руках. Сила — это то, что ты можешь отпустить.

— Ты отдашь свой счёт, — сказал дед. — Ты перестанешь считать для себя. Ты будешь считать для неё. Для степи. Ты будешь перекладывать камни так, как велит не твой разум, а её дыхание. И тогда каждый твой ход станет молитвой.

Он показал пальцем на доску. На её лунки, на восемьдесят один кумалак, которые лежали теперь не в начальном порядке — после первой партии они перемешались, и Эржан ещё не разобрал, какую позицию они занимают. Одни лунки были полны до краёв, другие зияли пустотой, и эта неравномерность напоминала степной ландшафт после дождя: где-то образовались озёра, где-то — грязевые промоины, а где-то земля осталась сухой и потрескавшейся, как кожа старого змея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.